



В.А. Черкасов
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

ВЗГЛЯДЫ ПУШКИНА И ГОГОЛЯ О ПОЭТЕ И ПОЭЗИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЕРЕСАЕВА

В статье рассматривается проблема реализации концепции «двупланного Пушкина», которую создал В.В. Вересаев, в его своде «Пушкин в жизни». Выясняется генезис антибиографического подхода писателя к жизни и творчеству А.С. Пушкина в теории «литературной личности», созданной Ю.Н. Тыняновым.

В.В. Вересаев, А.С. Пушкин, история пушкинистики, литературная личность писателя.

В настоящее время проблема методологии в литературоведении стоит как нельзя остро. Многие методы и подходы, широко употребляемые еще в XIX – начале XX вв. и, казалось бы, переосмысленные последующими поколениями ученых, переживают свое возрождение, тогда как, наоборот, разного рода, условно говоря, «структуралистские» принципы анализа художественного произведения, еще недавно принятые за аксиому среди ведущих ученых-литературоведов, становятся общим местом, уделом ученических работ.

Среди методов, переживающих свое возрождение, особенно актуален так называемый биографический метод, допускающий аналогию между литературной и биографической личностью изучаемого писателя. Современные ученые свободно используют художественные произведения писателя в качестве документа для реконструкции его биографии, забывая заветы формалистов, создателей истории литературы как научной дисциплины, о необходимости сверять художественные тексты с документами, дабы не допустить смещения понятий.

В связи с вышесказанным представляется актуальным обратиться к рассмотрению биографического творчества В.В. Вересаева как создателя свода «Пушкин в жизни», в котором отразились искания писателя в области создания принципиально нового антибиографического подхода в изучении жизни и творчества А.С. Пушкина, объекта исследования целых поколений ученых-позитивистов XIX – начала XX вв., разделявших в основном установки биографического метода. Однако Вересаев, как мы покажем в нашей работе, выработывал свою концепцию «двупланного Пушкина», полемизируя, через головы пушкинистов-своих предшественников, с самим Пушкиным, который впервые в русской литературе остро поставил вопрос о соотношении биографической и литературной личности поэта.

Целью нашей работы является исследование концепции «двупланного Пушкина», легшей в основу свода Вересаева «Пушкин в жизни», на примере темы «поэта и поэзии». Для этого мы прежде всего напомним взгляды Пушкина по этому поводу, а также Н.В. Гоголя, чьи воззрения, на наш взгляд, оказали

существенное влияние на формирование концепции Вересаева. Затем мы рассмотрим тематически связанные фрагменты свода «Пушкин в жизни» в свете релевантной для него теории «литературной личности», создателем которой является Ю.Н. Тынянов. Основной метод нашей работы – сопоставительный анализ фрагментов «Пушкина в жизни» с их источниками.

Как известно, Пушкин чрезвычайно высоко ценил звание поэта и его творчество. Для нашей темы актуальными в этом смысле произведениями являются такие стихотворения, как «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Гнедичу» («С Гомером долго ты беседовал один...») (1832), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836).

В стихотворении «Поэту» Пушкин назвал поэта царем в творимом им самим мире слов, то есть в литературном плане. Он выделил мотивы его абсолютной духовной независимости и бескорыстного служения:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
[6, т. III(I), с. 223]

В стихотворении «Поэт и толпа» это служение изображено как абсолютно антиутилитарное. Чернь предлагает поэту весьма высокое место в социальной иерархии в роли проповедника, нравственного наставника и духовного учителя. Однако тот с гневом отказывается даже от такого рода «службы». Если он и проводит аналогию между службой священнослужителя и творчеством поэта, то лишь неполную и употребляемую в особом смысле. Творчество поэта «не от мира сего»: в нем собственные ценности и цели:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
(Там же, с. 142)

В стихотворении «Гнедичу» Пушкин представил мироприемлющую позицию поэта. Ему доступны не

только высшие духовные горизонты, приближающие человека к Богу (лирический герой называется «про-роком» [6, т. III(I), с. 286], но и, так сказать, «земные» стремления и интересы, разделяемые большинством людей:

[Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,
[То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана.]
[6, т. III(I), с. 286]

В метафорическом плане Пушкин изображает мироприемлющую позицию поэта как сошествие «с таинственных вершин» «в тень долины малой» (Там же).

Наконец, в итоговом стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкин еще раз подчеркнул свою духовную независимость от царской власти:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не заростет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа¹
(Там же, с. 424)

Это стихотворение можно также понять в том смысле, что поэт ценит свои достижения в литературе, где он, как это явствует из упомянутого стихотворения «Поэту», является царем, даже выше самых славных деяний современных ему царей в бытовом плане (в широком смысле этого слова).

Однако весь комплекс обозначенных идей имеет силу только в литературном плане. В бытовом плане Пушкин предпочитал быть только «порядочным человеком», именно по этой причине имеющим право на общественное уважение. Эта идея выражена прежде всего в автобиографической повести «Путешествие в Арзрум» (1835), а также в неоконченной повести «Египетские ночи» (1835), главный герой которой Чарский имеет автобиографические черты, и в тематически связанном с нею стихотворении «Поэт» (1827).

Данный аспект пушкинской концепции поэта мы подробнее рассмотрим в следующей статье, в связи с анализом работы Тынянова «О «Путешествии в Арзрум» (1936). Сейчас же обратимся к важной для нашей темы интерпретации пушкинской концепции поэта в стихотворении «Гнедичу», которую предложил Гоголь в статье «О лиризме наших поэтов» из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

Следует сказать, что Гоголь в своей интерпретации данного стихотворения Пушкина имел в виду текст без цитированной нами выше конъектурной концевочной части [3, т. VI, с. 41], в которой содержится указание на поэта как на адресат посвящения.

Это позволило Гоголю заявить, что стихотворение посвящено Николаю I. При этом писатель привел рассказ по поводу его происхождения: «Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул “Илиаду” и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода...»² (Там же).

Однако из письма Гоголя С.П. Шевыреву известно другое, прямо противоположное предыдущему, свидетельство писателя по поводу посвящения стихотворения «Гнедичу»: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это “Отечественные Записки”»³ (Там же, с. 436).

Таким образом, для Гоголя звания поэта и царя оказываются вполне адекватными по своему значению. Об этом говорит и концепция статьи в целом.

В самом деле, с одной стороны, Гоголь в ней утверждает, что лиризм русских поэтов, как ни у каких других, близок по своей высокой настроенности духу Священного Писания. Эта высокая настроенность, между прочим, также выражается в искренней любви к Царю как образу Божьему на земле. Творчество Пушкина называется как одно из самых характерных в этом отношении, а стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...» (то есть «Гнедичу») приводится в качестве наиболее яркого примера поклонения поэта перед величием царской власти. В этой связи стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», по мнению Гоголя, только подчеркивает благоговение поэта. Гоголь комментирует первую строфу в редакции В.А. Жуковского следующим образом:

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не заростет народная тропа;
Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья» (Там же, с. 42–43).

² При цитировании соблюдена орфография подлинника.

³ Имеется в виду указание В.Г. Белинского на Н.И. Гнедича как на адресат стихотворения, которое было сделано в статье «Сочинения Александра Пушкина. Статья 3-ья». – «Отечественные Записки» 1843, т. XXX, кн. X, отд. V, стр. 81–82. См.: [6, т. III(II), с. 1237].

¹ При цитировании соблюдена орфография подлинника.

Однако, с другой стороны, судя по исходной ситуации стихотворения «Гнедичу», которое Гоголь цитирует по известной ему редакции, формулировка «сближение двух противоположностей» может означать сближение личности поэта и царя. В самом деле, царь, перед тем как выйти к «народу», беседует с поэтом, – с Гомером, и обретает от него, как от Бога (чуть ниже Гоголь сравнивает царя-лирического героя с Моисеем), высшую мудрость.

В концовке статьи Гоголь пишет о чрезвычайно высокой репутации писательского звания в народном мнении. Подразумевается, что писатели должны стремиться в нравственном плане оправдать это высокое доверие: «У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден...» [3, т. VI, с. 48].

Другое дело, что в контексте статьи приведенное наблюдение Гоголя звучит несколько парадоксально по отношению к утверждаемой адекватности положений царя, с одной стороны, и русских поэтов вообще и, в частности, Пушкина, с другой. В самом деле, вознося личности русских поэтов на божественную высоту, в концовке статьи он утверждает ее чисто словесный характер. Грубо говоря, достаточно кому-либо объявиться поэтом, чтобы он был вознесен общественным мнением на недостижимую высоту. Качества его настоящей личности не важны. Их замещает идеализированное представление. В своих художественных произведениях Гоголь употреблял данные приемы контрастного соотношения «высокого», или «духовного», и «низкого», или «бытового», планов, а также чисто словесной рисовки образов, как правило, в комической функции. Тынянов показал несоответствие подобных приемов морально-религиозной и политической проблематике «Выбранных мест...». По его мнению, именно по этой причине книга Гоголя не нашла понимания даже среди друзей писателя [8, с. 311–312]. Эту «невязку», по мнению ученого, спародировал Достоевский в образе Фомы Опискина.

В «Спутниках Пушкина» Вересаев выразил свое сомнение по поводу того, что адресатом стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...» является именно Н.И. Гнедич: «К Гнедичу <...> относят <...> стихи Пушкина “С Гомером долго ты беседовал один” (1832), но это еще требует подтверждения» [2, т. II, с. 353]. С другой стороны, разумеется, он не мог принять и кандидатуру Николая I.

На наш взгляд, мнение Вересаева по поводу адресата данного стихотворения Пушкина раскрывается в тех фрагментах «Пушкина в жизни», в которых так или иначе упоминается имя Гоголя. В этой связи нас прежде всего интересует эпизод посещения Гоголем Гнедича, только что вселившегося в новую квартиру, который был зафиксирован в «Воспоминаниях» графа В.А. Соллогуба: «Когда Гнедич получил место библиотекаря при Публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем. – Ах, какая славная у вас квартира, –

воскликнул он со свойственной ему ужимкою. – “Да, – отвечал высокомерно Гнедич: – посмотри, на стенах краска-то какая! Не простая краска! Чистый голубец”. Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским, звонким смехом, и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: – “Да, это вещь не простая, чистый голубец”» [1, т. II, с. 538].

В этой истории содержится в трагедизированном варианте комплекс тех же самых мотивов, что и в стихотворении «Гнедичу»: «сошествие» поэта с «таинственных вершин» к стремлениям и интересам «дольного мира». Однако, в отличие от лирического героя Пушкина, соллогубовский Гнедич сохраняет надменную позу «высокого» поэта даже при обсуждении таких бытовых подробностей, как цвет стен собственной квартиры⁴. Отсюда комизм данной ситуации.

На наш взгляд, приведя данный фрагмент из воспоминаний Соллогуба, Вересаев как бы стремится задать читателю следующий наводящий вопрос: разве такой поэт, как Гнедич может послужить реальным прототипом для лирического героя стихотворения Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...»? Ведь последний, «сходя» «в тень долины малой», тем самым как бы заявляет об абсолютной чуждости ему какого-либо высокомерного отношения, даже чисто внешнего, к заботам и интересам других людей. Во всяком случае, его мироприемлющая позиция лишена даже намек на какой-либо комизм. По Вересаеву, если Гоголь действительно сообщил Белинскому о Гнедиче как об адресате послания, то это была не более чем шутка, принятая «первым критиком», как говорится, «за чистую монету».

Далее. Вересаев усекает резюме истории, рассказанной Соллогубом, в котором содержится утверждение мемуариста по поводу якобы аналогичного поведения Пушкина: «Вообще, наши писатели двадцатых годов большею частью держали себя слишком надменно, как священнослужители или сановники. И сам Пушкин не был чужд этой слабости: не смешивался с презренной толпой, давая ей чувствовать, что он личность исключительная, сосуд вдохновения небесного» [7, с. 350].

Очевидно, что данная версия Соллогуба соответствует гоголевской концепции житиетворческого поведения Пушкина как «высокого» поэта *par excellence*. Вересаев, усекая это утверждение Соллогуба, тем самым вступает в скрытую полемику не только с ним⁵,

⁴ Эту историю Соллогуб привел для иллюстрации надменного поведения Гнедича. Вот его утверждение по этому поводу, приведенное в качестве преамбулы к истории и, как таковое, усеченное Вересаевым: «По величавости речи и приемов Кокоскин напоминал Н.И. Гнедича, который, кажется, и думал гексаметрами, и относился ко всему с вершины Геликона» [7, с. 349].

⁵ В «Спутниках Пушкина» Вересаев называет Соллогуба «большим хвастуном и вралею» [2, т. II, с. 197]. По его словам, мемуарист «и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Соллогуб [sic] ответил: “Нужно немножко оживлять повествование”» (Там же). Тут же Вересаев приводит пример воспоминаний Соллогуба, противоречащих его свидетельству о якобы надменном поведении Пушкина: «Он рассказывает, что каждый день ходил с Пушкиным гулять; на Толкучем рынке они покупали сайки и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским шеголям,

но и, через его голову, с Гоголем. Выражаясь в терминах, принятых в нашей работе, по Вересаеву, биографическая личность Пушкина адекватна образу лирического героя стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...». Грубо говоря, если Пушкин «сходил» «в тень долины малой», то скрывался в этой «тени» без остатка, быть может даже образуя собой, так сказать, самую темную часть ее «спектра». Конечно, Вересаев при этом имел в виду известные ему стихи из концовки стихотворения, в которой, напомним, речь идет в том числе и об удовольствии, получаемом лирическим героем от «забавы площадной» и «вольности лубочной сцены». В самом деле, ведь, в сущности, лирический герой стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...» идентичен лирическому герою стихотворения «Поэт» (1827). А последний, как мы помним, был признан Вересаевым как абсолютно автобиографический.

Наша интерпретация функционального значения данного усечения Вересаева подтверждается ближайшим контекстом истории Соллогуба.

Например, ее предваряет фрагмент из воспоминаний А.П. Керн, в котором при желании также можно усмотреть тему «схождения» «высокого» поэта в «дольный мир»: речь в нем идет о попытке Пушкина помочь мемуаристке, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: «Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственною ему живостью по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие (Е.М. Хитрово); ласкал мою маленькую дочку Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: “Как тебя зовут?” отвечала: “Воля!” и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра» [1, т. II, с. 538].

Пушкин в данном фрагменте воспоминаний ведет себя, прежде всего, как «порядочный человек», то есть – в соответствии со своими взглядами на природу поэта. Однако в «Спутниках Пушкина» Вересаев вскрывает иронический смысл данного эпизода своего монтажа. Здесь говорится, что Пушкин действительно «хлопотал» «об одном имущественном деле г-жи Керн» [2, т. II, с. 47]. Однако все закончилось ничем. Так что Вересаев уделяет этому моменту пушкинской биографии буквально одно предложение. Зато он подробно пересказывает, с комментариями,

которые бегали от них с ужасом» [2, т. II, с. 197]. Ниже Вересаев переадресует Соллогубу его собственный упрек Пушкину в снобизме, процитировав мемуары Головачевой-Панаевой, выдержанные в пасквильном тоне: «...часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном – своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Соллогуб носил его, закинув голову назад и смотря на всех величаво-презрительно. Странно, Соллогуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом» (Там же, с. 199).

историю обращения Керн за помощью непосредственно к самому Пушкину и намекает, что «неджентльменский» отказ поэта был вызван его положением, так сказать, «подкаблучника»: «...когда она для пропитания взялась за переводы и обратилась к Пушкину с просьбой устроить у книгопродавца Смирдина переведенный ею роман Жорж Санд, Пушкин, как он сообщал своей жене, поручил Анне Николаевне Вульф ответить ей, что если перевод ее будет так же верен, как сама она верный список с мадам Санд, то успех ее несомнителен, а что он со Смирдиным дела никакого не имеет. Конечно, джентльмен Пушкин не мог так грубо ответить г-же Керн, – не надо забывать, что пишет он это ревнивой своей жене, через руки которой получил записку г-жи Керн. Но что он решительно и без всяких церемоний отказался в этом деле помочь г-же Керн, подтверждается и свидетельством сестры Пушкина О.С. Павлицевой. Ввиду всегдашней отзывчивости Пушкина это странно» (Там же).

Таким образом, по Вересаеву, выходит, что Пушкин, в сущности, только делал вид, что искренне пытается помочь Керн. На самом деле, эта «помощь» была ограничена строгими рамками собственных интересов и поэтому, по определению, не могла быть сколько-нибудь действенной. Воспоминания Керн в этой связи точно отражают ее сентиментальный характер, и не более того.

Вересаев учитывает в своих построениях, условно говоря, пушкинско-гоголевскую концепцию «царственного положения» поэта. Эта тема прямо заявлена во фрагменте из воспоминаний И.И. Лажечникова, который следует сразу после истории Соллогуба: «Приятель мой, которому я поручил передать Пушкину моего “Новика”, писал ко мне по этому случаю 19 сент. 1832 г.: “Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру, и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна, – его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична”» [1, т. II, с. 538–539].

Тему данного рассказа также можно рассматривать как вариант «сошествия» «высокого» поэта «к малым сим». Рассказчик во время знакомства с Пушкиным все время держит в памяти «царственное» положение своего собеседника и соотносит это представление с его внешностью и поведением. И вот он, с плохо скрытым удивлением, констатирует полное несоответствие своих представлений о «князе русских поэтов», которые были почерпнуты им как из романтической лирики вообще, так и из стихотворений Пушкина в частности, – с биографической личностью поэта. В конце концов он смиряется с отсутствием какой-либо «тайны» в личности Пушкина и даже утверждает, что именно «скромность» и «прилична», так сказать, «княжескому» поведению. Но все это плохо вяжется с романтическими представлениями о поэте, из которых исходил приятель Лажечникова при выработке своей концепции соотношения биографи-

ческой личности Пушкина с образом созданного тем в лирике «высокого» поэта.

Мы переходим к развитию темы «царственного положения поэта» в XI главе свода Вересаева, посвященной путешествию Пушкина в Арзрум.

Эта тема вводится уже на стыке начала данной главы с концевочной частью предыдущей, десятой главы, посвященной перипетиям сватовства заглавного героя.

Здесь приводятся два фрагмента из писем Пушкина матери невесты – Н.И. Гончаровой. В первом из них, датированном первой половиной апреля 1830 г., Пушкин признается, что рассматривает предпринимаемое путешествие в Арзрум как единственное средство избавиться от тоски, вызванной неопределенностью своего положения по отношению к возлюбленной. Это трагическое письмо, вкуче с не менее трагическим следующим письмом поэта от 1 мая 1829 г. к тому же адресату, заканчивает X главу на чрезвычайно высокой эмоциональной ноте.

И вот в начале следующей главы Вересаев, свободно комбинируя различные редакции повести Пушкина «Путешествие в Арзрум», приводит черновой отрывок, в котором говорится об удовольствии, испытываемом автором от езды в бричке. Этот фрагмент образует комический контраст по отношению к трагической концовке предыдущей главы: «Он [приятель Пушкина граф В.А. Мусин-Пушкин] едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали *Отрадною*. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы; в южной – книги, мундиры, шляпы, etc, etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше» [1, т. II, с. 417].

Получается, что Пушкин спасается от «неприятностей», путешествуя в бричке. А его поездка в Арзрум похожа на бегство от будущей семьи.

Эта же тема развивается Вересаевым, например, в эпизоде кратковременного приезда уже женатого заглавного героя из Петербурга в Тригорское. Это событие произошло в начале мая 1835 г. Писатель приводит следующий фрагмент из письма матери Пушкина Надежды Осиповны к дочери от 7 мая 1835 г., из которого, между прочим, выясняется, что эта поездка ее сына была полной неожиданностью даже для нее самой, не говоря уже о Наталье Николаевне, ждущей родов через десять дней: «Александр вчера уехал в Тригорское и должен возвратиться прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи. Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу, – совсем нет; а единственно ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду! Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда, и его жена очень опечалена; надо сознаться, что твои братья оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми» (Там же, т. III с. 71–72). Таким образом, Надежда Осиповна объяснила внезапный отъезд сына его сумасбродной страстью к путешествиям.

Однако ниже Вересаев приводит фрагмент из воспоминаний М.И. Осиповой, в котором по контрасту звучит высокая тема благотворного влияния жизни в деревне на духовные и творческие способности поэта,

выраженная с поразительной силой в поздней пушкинской лирике: «Кажется, в 1835 г., – да, так точно, – приехал он сюда (в Тригорское) дня на два всего, – пробыл 8 и 9 мая – приехал такой скучный, утомленный: – “Господи, – говорит, – как у вас тут хорошо! А там-то, там-то в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!”» [1, т. III, с. 72].

Этот рассказ Осиповой был записан М.И. Семевским в 1866 г. К тому же ей в мае 1835 г. исполнилось всего лишь 14 лет. Возникает вопрос: неужели в присутствии подростка Пушкин мог позволить себе столь непосредственное поведение? Может быть, на восприятие Осиповой наложило отпечаток знакомство с упомянутыми стихотворениями Пушкина, опубликованными только после его смерти?

Мы полагаем, что Вересаев сознательно наводит читателя на эти вопросы, когда сразу же вслед за данным фрагментом из воспоминаний Осиповой цитирует гораздо более прозаическое по тону письмо А.Н. Вульф своей родной сестре бар. Евпр. Н. Вревской, написанное, что называется, «по горячим следам» – 24 мая 1835 г. Ее версия цели приезда Пушкина, в общем, соответствует приведенному выше мнению на этот счет Надежды Осиповны: «Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия. Но я думаю, – это просто было для того, чтобы проехать, повидать тебя и маменьку, Тригорское, Голубово и Михайловское, потому что никакой другой благовидной причины я не вижу. Возможно ли, чтоб он предпринял это путешествие в подобное время, чтобы поговорить с маменькой о двух тысячах рублей, которые он ей должен...» (Там же).

Вересаев подытоживает эпизод поездки Пушкина в Тригорское следующим сообщением Надежды Осиповны по поводу психологического состояния Натальи Николаевны, родившей накануне возвращения Пушкина в Петербург: «Наташа родила накануне приезда Александра, и радость свидания с мужем ее так расстроила, что проболела весь день» (Там же).

Комментарий к данному эпизоду «Пушкина в жизни» содержится в «Спутниках Пушкина». По мнению Вересаева, Пушкин избегал присутствовать при родах жены, так как эгоистически стремился оградить себя «от всяких лишних семейных волнений» [2, т. II, с. 541]. То есть он фактически, так сказать, «бежит» от любимого человека, нуждающегося в «помощи и ласке» (Вересаев 2001 II: 542), предает его на произвол судьбы ради более важного для него, стихотворческого дела (Там же).

Этот комментарий Вересаева объективно работает на обнажение условности «деревенской» темы в поздней лирике Пушкина.

В другом месте своей книги писатель приводит отрывок из автобиографической заметки Пушкина «Вышел из Лицея...», где поэт говорит о своей нелюбви к деревенской жизни: «Вышел из Лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу» [1, т. II, с. 85].

Эта запись датируется 19 ноября 1824 г., тогда как первая глава «Евгения Онегина», в которой содержится прямо противоположное признание Пушкина

по поводу своего отношения к деревенской жизни⁶, была закончена 22 октября 1823 г.⁷

Таким образом, Вересаев, проецируя автобиографическое признание Пушкина на авторскую декларацию в «Евгении Онегине», фактически ее дезавуирует. И этот дискурсивный ход автора «Пушкина в жизни» экстраполируется на разобранный выше эпизод поездки его заглавного героя в Тригорское.

Такое травестированное снижение мотивации путешествия Пушкина в Арзрум или его поездки в Тригорское, очевидно, имеет своим литературным образцом поведение таких гоголевских героев, как, например, Чичиков, который «освободился» с помощью внезапного отъезда из губернского города NN от «тягостного» дела: возможного судебного преследования в связи с открывшейся аферой; как Нос майора Ковалева, схваченный при попытке удрать в Ригу; как «внезапный» отъезд Хлестакова от приобретенных было семейных уз и т. д.⁸

В связи с рассматриваемой темой «царственного положения поэта» для нас особенно актуальна замеченная аналогия поведения заглавного героя Вересаева с поведением Чичикова. Напомним, что именно в этом герое Гоголь травестировал «наполеоновскую» тему. В частности, в этом ракурсе указанный мотив «бегства» от «неприятностей» является комической параллелью к соответствующим действиям Наполеона, который, как известно, на протяжении своей карьеры, по крайней мере, дважды оставлял зашедшие в тупик «дела», что называется, на произвол судьбы.

Таким образом, в начале XI главы Вересаев вводит тему «царственного положения поэта» через «наполеоновский» код в его, травестированном Гоголем, варианте.

Далее. Большой частью фрагменты, составляющие данную главу, представляют собой материал для создания образа не «дворянина» и «порядочного человека», как было задумано Пушкиным в повести «Путешествие в Арзрум», а «поэта», в «гоголевском» смысле этого слова. То есть заглавного героя во время путешествия привечали «по-царски» только ради его звания «поэта».

Наиболее ярким в этом смысле примером является отрывок из воспоминаний Н.Б. Потокского, в котором изображается путь от Екатеринодара в сторону Владикавказа. Воспоминания Потокского самим Вересаевым отмечены звездочкой как недостоверные. Однако основные мотивы поведения поэта во время военных действий, обратного переезда через Кавказ, которые отмечаются, например, такими авторитетными свидетелями, как М.И. Пущин, Н.И. Ушаков, аналогичны. У всех трех мемуаристов тридцатилетний Пушкин, каким он был в 1829 г., еще не вышел из юношеского воз-

раста. У Пущина он представлен еще и как шаловливое, но милое дитя, требующее постоянного присмотра. Другими словами, воспоминания Потокского стоят в одном ряду с мемуарами Пущина, Ушакова и т. д. и работают на создание определенного образа поэта.

К тому же у всех трех мемуаристов Пушкин представлен как «романтический» поэт, жаждущий «подвигов» и, как подразумевается, воспринимающий с энтузиазмом «деяния» главнокомандующего генерала И.Ф. Паскевича.

В данном фрагменте воспоминаний Потокского дан травестированный вариант конфликтных отношений заглавного героя Вересаева с царской администрацией, что тут же приводит на ум, в связи с отмеченным конструктивным значением «чичиковско-наполеоновского» кода в структуре его образа, о соответствующих попытках Чичикова (Хлестакова, Носа) «перехитрить» российское государство и в итоге самого царя, как бы олицетворяющего своей персоной это самое государство.

Образ поэта введен в социальный план, то есть он изображается как инициатор увеселительных мероприятий, рубаха-парень, который не прочь порисоваться перед окружающими. Последние ему охотно подражают и благосклонно принимают все шалости гения. Короче говоря, Пушкин «царит» в узком кружке своих почитателей.

Однако он то и дело, чуть ли не каждый вечер, подвергается «давлению» со стороны «власти» – инвалидов-сторожей, охраняющих казенные домики для ночлега. Дело в том, что Пушкин якобы весьма любил для удовольствия публики расписывать стихами и рисунками стены этих домиков, а сторожам приходилось их стирать. Публика защищала своего поэта: «Братцы, не троньте, ведь это писал Пушкин». Однажды в ответ на это один из сторожей сказал: «Пушкин или Кукушкин – все равно, но зачем же казенные стены пачкать, комендант за это с нашего брата строго взыскивает» [1, т. II, с. 419].

То есть Пушкин оказался «царем» только в словесном плане. Конечно, в его опошленном варианте: как было показано выше, никакого перехода поэта в социальный план Пушкин не мыслил. При первом столкновении с властью реального царя его «царское» достоинство лопается, как мыльный пузырь, или как афера «наполеонического» Чичикова (Хлестакова, Носа).

Подобный сдвиг «пушкинско-гоголевской» концепции «поэт-царь» зафиксирован также в легендарных воспоминаниях князя Е.О. Палавандова о «царском» поведении Пушкина на балу у Паскевича⁹,

⁶ См. LV строфу главы первой: «Я был рожден для жизни мирной, / Для деревенской тишины...». Здесь автор впервые отчетливо противопоставляет себя заглавному герою. В отличие от Пушкина, Онегин в деревне хандрит.

⁷ Датировку окончания первой главы «Евгения Онегина» см., например, в издании: [5, с. 70].

⁸ В этой связи представляется актуальным также замечание В.В. Набокова, сделанное в книге «Николай Гоголь» (1942), по поводу аналогичной «тактики» самого Гоголя. По его словам, тот «...после каждой неудачи в [своей] литературной судьбе <...> поспешно покидал город, в котором находился» [4, с. 39].

⁹ «Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха. Эти шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках: откуда взялся он, в каком звании состоит, и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный? Все это казалось тем более паразитическим и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут – помилуйте! – какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большею снисходительностью» [1, т. II, с. 422].

смонтированного с показаниями Потокского по поводу изгнания Пушкина из действующей армии тем же Паскевичем [1, т. II, с. 433]; в эпизодах из «Путешествия в Арзрум»: званый обед у генерала Стрекалова (Там же, с. 425); встреча с душетским городничим (Там же, с. 420–421).

Последний из упомянутых фрагментов, на наш взгляд, требует особого комментария. Здесь говорится о том, что представитель государственной власти признал личность Пушкина только после предъявления тем соответствующих документов. Эта сцена находится в обрамлении фрагментов из воспоминаний Потокского и Палавандова, где о Пушкине говорится исключительно как о поэте (в плане бытового поведения). Таким образом, составляя контраст с обрамляющими фрагментами, данное свидетельство образует совместно с ними один из вариантов сдвига концепции «поэт-царь».

Рассмотренные фрагменты из свода Вересаева, в которых разрабатывается тема «царственного положения поэта», призваны проиллюстрировать следующее установочное утверждение писателя по поводу соотношения Пушкина-поэта и Пушкина-человека, приведенное в концовке предисловия к третьему изданию книги: «Был цинизм, была нередко мелкая мстительность, была угодливость, была детская неспособность отстаивать свое достоинство и полное неумение нести естественные последствия своих действий. И все-таки – исключительно-благородная красота его души пламенными языками то и дело прорывалась в жизни сквозь наносную грязь, ярким огнем пылала в его творчестве и ослепительным светом вспыхнула в его смерти. Умирал он не как великий поэт, а как великий человек. Да, великая была душа. И только в смерти Пушкина чувствуешь, сколько возможностей таилось в этой душе» (Там же, с. 16).

Получается, что только смерть, в глазах Вересаева, может оправдать все «пороки» личности Пушкина. Без этого события невозможно было бы поверить в его необыкновенность. К прекрасным проявлениям души относится и творчество поэта, которое, как таковое, также служит оправданием Пушкина. Грубо говоря, по Вересаеву, «ничтожный» Пушкин – «царь» хотя бы уже потому, что носит звание «поэта», и отношение к его «персоне» в любом случае должно отвечать рангу «царствующих особ».

Перейдем к подведению итогов нашей работы.

Если Пушкин стремился проводить границу между своей жизнью и творчеством, отнюдь не распространяя свою концепцию «царственного положения поэта» на окружающую его действительность, то Гоголь фактически реинтерпретировал аутентичную пушкинскую концепцию поэта в жизнетворческом плане: по его мнению, поэт и в «жизни» должен соответствовать создаваемому им образу в поэзии. Другими словами, согласно концепции Гоголя, речь идет об отождествлении биографической и литературной личности поэта.

Согласно Вересаеву, Пушкин только носит звание «царя поэтов». На самом деле, он ведет себя в «жизни» совершенно не так, как было продекларировано в таких стихотворениях, как «Поэт и толпа» или «Из Пиндемонти». Его внешний вид и мотивация поведения столь «приземлены», что звание «царя поэтов» в восприятии читателей свода Вересаева призвано стать чем-то абстрактным, чуть ли не «виртуальным».

Стремление Пушкина обрести духовное убежище в деревенском уединении, которое было продекларировано в его поэтическом творчестве, по Вересаеву, совершенно не соответствует реальной мотивации поездки поэта в Тригорское. За всеми высокими словами поэта стоит банальное стремление «скрыться» от семейных неурядиц.

Вересаев представил опошленный образ Пушкина-поэта, которого, тем не менее, как раз именно за то, что он носит звание поэта, все почитают, во всяком случае, готовы благосклонно отнестись к самым пошлым его поступкам. При этом писатель обнажил потенциальную комичность утверждения Гоголя о магическом влиянии, которое оказывает на ум и сердце российского обывателя звание русского писателя.

Вопреки версии Пушкина – Гоголя, Вересаев выдвигает собственную концепцию «двупланного» Пушкина как более достоверную. Принципиально не учитывая поэтические свидетельства Пушкина, в соответствии с принятыми на себя антибиографическими установками, Вересаев к тому же сознательно игнорирует пушкинское требование по поводу отношения к поэту в быту как к «порядочному человеку». Заглавный герой свода ведет себя в точном соответствии с установочной программой его создателя: «ничтожный, иногда прямо пошлый» Пушкин [1, т. 2, с. 5].

Литература

1. Вересаев, В. В. Пушкин в жизни: систематический свод подлинных свидетельств современников / В. В. Вересаев // Сочинения : в 4 томах / В. В. Вересаев. – Москва : Правда, 1990. – Т. 2, 3.
2. Вересаев, В. В. Спутники Пушкина : в 2 томах / В. В. Вересаев. – Москва : Локид-Пресс, 2001.
3. Гоголь, Н. В. Собрание сочинений : в 9 томах / Н. В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1994.
4. Набоков, В. В. Лекции по русской литературе : перевод с английского / В. В. Набоков. – Москва : Независимая газета, 1996. – 435 с.
5. Набоков, В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» : перевод с английского / В. В. Набоков. – Санкт-Петербург : Искусство-СПб, Набоковский фонд, 1998. – 924 с.
6. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений : в 17 томах / А. С. Пушкин. – Москва : Воскресенье.
7. Соллогуб, В. А. Повести. Воспоминания / В. А. Соллогуб. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 717 с.
8. Тынянов, Ю. Н. Литературная эволюция: Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. – Москва : Аграф, 2002. – 496 с.

V.A. Cherkasov

**PUSHKIN'S AND GOGOL'S VIEWS ON THE POET AND POETRY
IN VERESAEV'S INTERPRETATION**

The article examines the problem of implementing the concept of «two-dimensional Pushkin» created by V.V. Veresaev in his collection «Pushkin in Life». It clarifies the genesis of the antibiographical approach of the writer to A.S. Pushkin's life and work within the theory of «literary personality» created by Yu.N. Tynyanov.

V.V. Veresaev, A.S. Pushkin, history of Pushkin studies, literary personality of the writer.